

МАРИНА ГРЕЙДЖОЙ



АКАДЕМИЯ  ДРАКОНОВ

СВЯЗАННЫЕ ДО СМЕРТИ



Марина Грейджой

Академия драконов.

Связанные до смерти

<https://litres.ru/74423618>

SelfPub; 2026

Аннотация

Массала рождается только в постели.

Одна ночь — и вы связаны навсегда: общая сила, общая боль, общая смерть. Разорвать нельзя: тех, кто пробовал, находят мёртвыми парами — он здесь, она за сто вёрст.

Третий год я живу в академии драконьих всадников под фамилией, которую вслух не произносят. Дочь еретика: без пары, без звена, без права на своё имя. Пару здесь назначает приказ — а мне не назначили никого.

В Ночь Пепла я вышла к кострам, чтобы хоть раз выбрать самой. К утру с меня сорвали маску, за меня вступился тот, кому я теперь должна, — а на нижней тропе я нашла тело с выжженным следом привязи и того, кто стоял над ним. Он посмотрел на меня один раз и сказал вслух то, что я прятала весь год.

Двое. Один даст мне имя, другой — правду. Лечь придётся с одним, и это навсегда.

Содержание

Глава 1. Ночь Пепла	4
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Марина Грейджой

Академия драконов.

Связанные до смерти

Глава 1. Ночь Пепла

Я собиралась постоять у ворот и уйти.

Так я себе и сказала, застёгиваясь до горла: «Посмотрю из-под арки, где темно, и вернусь в казарму». Маску взяла у Милы — простую, серую. Половина Хребта была в таких: у ворот их продавали по два медяка, а после полуночи, когда у кого-нибудь обязательно рвалась завязка, — по пять. Торговки эти сидели на камнях с самого утра и мёрзли всю ночь ради двух десятков медяков. Я на них смотрела третий год и каждый год думала, что вот у них-то жизнь простая.

Сейчас восемьсот двенадцатый год от Первой Привязи, сороковой день осени.

Я говорю это на случай, если вы читаете сильно потом. Тогда у вас, наверное, всё уже иначе, и вы не поймёте половины: может, у вас нет драконов вовсе, может, вы летаете на чём-нибудь совсем несуразном, на бочке или на метле, как ведьмы в сказках. И вам будет смешно, что взрослые люди строили империю вокруг того, кто с кем связан.

А мы строили. И про это мне рассказывать легче, чем про то, зачем я в ту ночь пошла на плац.

Ночь Пепла у нас в конце осени, одна на год. Смысл её простой: жечь то, с чем прощаешься, и ходить в масках. Спросить человека в маске, кто он, — стыдно; это не закон, за это не наказывают, просто так не делают, как не сморкаются в скатерть. Раз в году весь Хребет ходит и не обязан быть тем, кем записан в бумагах. Мастера пьют с курсантами, дети торговых домов пьют с детьми домов с гербами, и наутро все делают вид, что не помнят.

А назавтра — распределение.

Это когда тебя ставят в звено. Двое всадников, два дракона, и через несколько дней между вами — очень вероятно — кровная привязь.

Связей у нас две, и путать их нельзя.

Первая — нить. Она между всадником и драконом, и её никто не ставит: дракон просто выбирает, и всё, дальше это на жизнь. По нити идёт сила, по нити идёт тепло, и по ней же идёт смерть — в обе стороны. Умер дракон — умер всадник. Умер всадник — умер дракон.

Вторая — привязь. Это уже между людьми, и её ставят руками, в три ступени.

Касание — учебное, на час-два, чтобы двое привыкли попадать в такт. Следа не оставляет, и его же в академии ставят по десять раз в неделю.

Кровь — звено. Порез на ладони, ладонь к ладони, и дер-

жится месяцами. После этого ты чувствуешь чужие злость, страх и радость как погоду за стеной — не свою, но и не чужую совсем.

И третья, полная. В бумагах она называется «массала», а в жизни её часто называют просто «полная», потому что полнее уже нечего. Ставится один раз и навсегда, и обратно её не берут. Общая сила, общая боль на любом расстоянии, общая смерть в тот же час.

Империи это нужно не ради красоты. Привязь смыкает две нити в один контур, и каждый из двоих получает силу обоих драконов. Пара сильнее двух одиночек не вдвое — кратно. Поэтому у нас воюют парами, поэтому единица войска — не человек, а пара, поэтому дома торгуют детьми ради привязей, как в других местах торгуют ради браков. И поэтому распределение — это не «вас поставили в один класс». Это «вам назвали человека».

Мне его назовут завтра к полудню.

Я не знала, кого. Я знала только, что решать будут четверо мужчин в канцелярии, и что моего мнения там не спросят, и что спорить нельзя. Особенно.. крайне особенно нельзя — мне.

Что во мне особенного, спросите вы?

Говорить об этом больно.. Мой отец, Дан Верна, был мастером привязей. Его казнили прошлой осенью, на двадцатый день, в столице. Меня даже не отпустили с учебы, чтобы попрощаться с ним.

В приговоре написано: торговля драконьими яйцами. Будто бы он возил за перевал кладки из казённого гнездовья. Суд шёл при закрытых дверях, свидетелей объявили, но не показали, и всё кончилось за девять дней.

Я в эту чушь не верю. Не потому, что он был святой, — потому что он был аккуратный. Человек, который двадцать лет вёл записи по привязям с точностью до четверти часа, не повезёт кладку через перевал на телеге с сеном. Но кто-то написал эту бумагу, и её подписали, и по ней его убили.

Еретиком его стали звать уже потом, само собой: мастер привязей плюс закрытые двери, а закрытые двери у нас всегда означают магию. За год слово приросло намертво. Меня на курсе зовут дочерью еретика, и никто в это слово даже не вкладывает злости — просто так короче.

А хуже всего вот что.

Год я на него злилась.

Не за яйца — за нас. У него были жена и две дочери, и он всё это положил на что-то, чего мне не объяснил. Он ведь всегда всё просчитывал. Значит, просчитал и это тоже, и вышло, что мы легче. Я год носила в голове эту арифметику и заодно ненавидела себя за неё, потому что любить его меньше от неё не стала.

Мать с похорон говорит шёпотом. Ная, младшая, пишет мне длинные письма про соседских кур и про то, какое ей сшили платье, — ей шестнадцать, дракон её не выбрал и уже не выберет, и она пока не знает, что это значит. Я знаю.

В итоге наш Дом лишили права держать привязи, имение заложено, а лично мне в канцелярии выдали листок с ограничениями: увольнения, собрания, праздники — по письменному разрешению. То есть в ту ночь весь Хребет мог идти на плац просто так, а я — только с бумагой, которую мне никто бы не подписал, потому что зачем.

Мне нельзя было ошибиться ни разу. Совсем ни разу.

Отчисление — это не «поехать домой». Это поехать в дом, где нет денег и нет права держать привязи, к матери, которая с похорон разговаривает шёпотом. Там я стала бы тем же, чем через год станет моя сестра Ная: единственной ценностью, которую ещё можно продать. Меня выдали бы в привязь — не в брак, в привязь, — за того, кто согласится взять дочь еретика. И это было бы законно, обычно и называлось бы заботой обо мне.

Так что весь этот год я ходила по струнке. Вежливо здоровалась с теми, кто плевал в сторону моего имени. Сдавала в срок. Не отвечала. Спину держала ровно — чем хуже дела, тем ровнее.

Но в ту ночь я вышла из казармы без бумаги.

Мила сидела на своей койке в одной рубашке, босая, и разложила на одеяле четыре маски.

Ей выпал наряд по казарме до полуночи, и она третий день ругалась на это так, будто у неё отняли не праздник, а год жизни.

— Вот эта, — сказала она и приложила к лицу белую, с

длинным птичьим клювом. — Ну?

— В такой тебя конюшие в стойлах побьют.

— Зато запомнят. — Она отложила клюв и взяла чёрную, с прорезями углом. — А эта?

— А в этой ты похожа на дознавателя.

— Значит, эта. — Мила подумала и отложила и её. — Нет. В этой со мной никто не заговорит.

Мила.. Она знала, что все пропустит, и все равно примеряла маску.

Я стояла у стены, в куртке поверх свитера и рубахи, и чувствовала, как тянет из щели в раме. Мила сидела ровно на этом сквозняке, босыми ногами на холодном полу, и не замечала ни щели, ни пола, как не замечает никто на этом Хребте, кроме меня.

— Садись, — сказала она наконец и хлопнула ладонью по одеялу. — Заплету. У тебя под маску завязка не ляжет, будет весь вечер съезжать.

Я села. Она распустила мне косу и стала перебирать волосы.

— Так, — сказала Мила. — Как думаешь, кого тебе завтра дадут?

— Мила.

— Что Мила? Ты всё равно об этом думаешь. Давай вслух, вдвоём быстрее.

— На курсе сто двадцать человек, — сказала я. — Шестьдесят звеньев. Вероятность любого конкретного — одна к

ста девятнадцати. Но наверняка мне дадут того, кого больше некуда деть. Вот и сказочке конец.

— Или хорошего.

— Или хорошего, — помечтала я.

— А если правда хорошего? — Она дёрнула прядь чуть сильнее. — Ты об этом вообще думала? Не «кого мне дадут», а «а вдруг повезёт».

— У нас дома в списке одни хорошие были, — сказала я.

— Всех до единого мне называли хорошими. И отца называли хорошим, пока не случилось.. это.

Мила помолчала, но недолго, долго она не умеет.

— Ладно. Тогда я скажу, кого бы взяла себе. Тавис Крейн. Злой, красивый, на летних два года подряд брал ножевую.

— Он тебе руку сломает на первой же сцепке.

— Пусть ломает. — Она вздохнула с удовольствием. — И ещё Ойре. Хальм. Вот за Ойре я бы пошла хоть завтра.

Я засмеялась. Не над Ойре — просто у меня в голове в ту секунду стояло совсем другое, и смех вышел не туда, и Мила это слышала.

— Ты чего?

— Ничего.

— Иска.

Коса у неё в руках дошла до затылка. Я смотрела на свои ладони, на старые порезы поперёк пальцев. У отца в мастерской резались все, кто держал нож; я резалась чаще других, потому что мне нравилось смотреть, как ставят привязь.

— Я не привязи боюсь, — сказала я. — Привязь это просто работа, я её с семи лет знаю. Я боюсь, что завтра к полудню четверо мужчин назовут имя, и это будет человек, которого я возненавижу за неделю. И его руки будут иметь на меня право до самой смерти. И это будет законно, и никто даже не поймёт, чего я, собственно, недовольна. Нет, я понимаю. Конечно, всем скажут «это только учебка», но ты же знаешь, как происходит.

Тишина в комнате стала другая. Я тут же пожалела, что открыла рот.

— Ну ты и умеешь, — сказала Мила. — Я про Ойре, а ты вот это. — Она затянула косу и хлопнула меня по спине, как будто лошадь. — Готово. Иди.

— Куда?

— На плац, куда. — Она собрала маски и сунула мне самую скучную из четырёх. — Мне тут до полуночи стоять, а тебе нет. Пойдёшь и посмотришь за меня.

— Мне нельзя.

— Тебе всё нельзя, — сказала Мила. — Праздники, собрания, увольнения. Ты вообще собираешься хоть раз в жизни сделать что-нибудь, чего тебе нельзя?

Я держала маску в руках и молчала.

Завтра к полудню всё это станет чужим праздником, на который меня будут водить за руку. Мила была права, я так устала от этих правил, которые защищают всех, кого угодно, но не меня.

От казармы до плаца четыре галереи, и на всех четырёх ветер. Он идёт снизу, с фьорда, и в конце каждого пролёта бьёт в лицо так, что глаза слезятся. К нему привыкают на первом курсе и потом перестают обращать внимание.

Я в ту ночь слышала каждый порыв.

Я останавливалась три раза. Первый — на второй галерее, где ниша с фонарём: постояла, не знаю зачем, и пошла дальше. Второй — на третьей, где слышно уже музыку и крик. Третий — перед самой аркой, и там я стояла долго и собиралась уже повернуть.

И вот тут надо сказать про холод.

Всадники не мёрзнут. По нити от дракона к человеку идёт тепло, и это не поэзия, это устройство: наши старшие курсы стоят на обледенелой галерее в расстёгнутых куртках и не замечают. Они не понимают, что такое мёрзнуть.

У меня есть дракон. Её зовут Сойка, она выбрала меня в семнадцать, за год до казни отца, и не отказалась от меня после — а могла бы, драконы уходят от опозоренных, это бывает.

Нить есть. Тепло не идёт.

Я мёрзну, как мёрзнут обычные люди в посёлках внизу, — до костей, до дурноты, до того, что пальцы не держат перо. Я обжигаюсь, когда все спокойно берут котелок голой рукой. Я прячу это с первого курса, потому что на курсе мёрзнувший всадник — это всадник с плохой связью, а плохая связь у дочери еретика читается как приговор: ага, вот и в ней это

видно.

Поэтому я не подхожу к огню при людях. Никогда.

И только раз в году, одну ночь, на плацу горят двенадцать огромных кострищ, и все вокруг них в масках.

Завтра чужие люди должны были назвать мне человека, с которым я свяжусь кровью, и кажется, это был последний вечер, когда я что-то могла решить сама.

Чем больше шагов я делала, тем больше не хотелось останавливаться. Я прошла под аркой, забыв, что собиралась смотреть отсюда.

Плац у нас — площадка на краю обрыва: с трёх сторон стены, с четвёртой парапет и триста саженей вниз, к чёрной воде. Костры ставят в ряд от стены к парапету, и ветер тянет дым низко, вдоль камня, как воду.

Старшие держались ближних костров, где собирались студенты первых курсов. Чем дальше, тем старших меньше. Возможно потому, что младшие чуют больше.

Инструктор по сцепке пляшет хуже всех на Хребте — огромный, весёлый, руки в стороны, и лицо у него такое счастливое, что никто не решается ему сказать. Одного из мастеров раз в год отпаивают горячим вином и уводят под локти, а наутро он читает своё тем же голосом, что и всегда, и все делают вид. А у самой арки всегда стоит человек, который разговаривает, смеётся и делает вид, что не считает, сколько кружек унесли к обрыву. Считает, конечно.

Вот этих троих или четверых я и держала глазами, пока шла. И когда я поняла, что ни один из них не смотрит в мою сторону, у меня отпустило плечи, и я пошла к огню.

Несмотря на сильный ветер, который уносит мои выдохи за километры отсюда, запах смолы, разлитого вина и палёной шерсти держался в воздухе. Издалека я видела, как кто-то бросил в огонь сапог, и сапог, вероятно, завонял, но все радовались.

Я подошла к первому костру.

Ближе, чем позволяла себе с шестнадцати лет. Потом ещё ближе, и ещё, пока не стало по-настоящему горячо лицу, — и стояла там, наверное, четверть часа, глупо и неподвижно. Голова стала как будто легче.

Рядом плакала девочка с первого курса и бросала в огонь исписанные листы: не сдала что-то, а листы жгла с таким лицом, будто прощалась с человеком. Двое парней спорили, можно ли бросить в костёр чужую колоду. Кто-то уронил кружку, вино зашипело в снегу, человек десять заорали от восторга.

Я стояла и грелась, и мне было так хорошо.

Потом костёр прогорел, жар осел, и я пошла к следующему, и к следующему. С каждым костром чуть дальше от арки, чуть ближе к парапету. Я шла по теплу и не считала костры, я просто грелась.

У этого было тише. Старших, кажется, вообще не было. Смеялись реже, говорили ниже, кто-то через плечо протянул

мне железную кружку — не глядя, как своей, как одной из всех. И я взяла, не задумываясь, обеими руками, потому что мне было так хорошо, так тепло, будто я тут на месте, и поднесла к губам. И легонько запрокинула кружку.

— Горячо! — предательски вскрикнула я.

Кружка стукнула о камень, вино выплеснулось мне на сапог, и стало совсем тихо.

Чёртова железная кружка.. она была как раскалённая сковорода.

Тогда я и увидела, куда пришла: последний костёр, дальний, у самого обрыва. Там пьёт выпускной курс — четвёртый, боевой, те, кого через два месяца распределят на границу. Младшие к их кострам не подходят, и если подходят, им «объясняют».

Пять или шесть человек, все в масках, все выше меня на голову. Остальные стояли у других костров — кажется, старшекурсники заняли три дальних костра.

Я стояла и отчётливо видела завтрашнее утро. Не мне-будет-стыдно-утро, а кабинет, декан Веррен, листок с ограничениями, где чёрным по белому: праздники — по письменному разрешению. И четыре свидетеля с четвёртого курса, которым незачем врать. Отчисление не обсуждают.

Дом без денег. Мать, которая говорит шёпотом. И я — то, что ещё можно продать.

Всё это уместилось в один удар сердца, и в тот же удар у

меня отнялись ноги.

— Элли?.. — спросил один. — Алиса?..

— Она не с четвёртого, — сказал другой. — По форме видно.

— Чего сюда пришла? — кто говорил, я уже не понимала.

— Правила не знаешь? Иди к средним кострам.

Тот, что в маске с птичьим клювом, показал кружкой в сторону арки. Моей кружкой: успел подобрать.

— Чего стоишь как стукан? Пш.. Иди, иди. Пока за тобой никто не пришёл.

Он сказал это без особой злости, и я чуть не поблагодарила. Губы и язык горели, я прижала рукав ко рту и стала боком протискиваться между двумя выпускниками.

— Точно, ходил тут уже один, — сказал кто-то у огня. — Считал, сколько мы выпили. Как будто на заставе тоже будет стоять с мерной кружкой.

— На заставе ты ему сам нальёшь. Только бы прилетел.

Засмеялись. Один подвинул мне сапог, освобождая дорогу, и я почти перестала бояться.

За первокурсниками ходили инструкторы: вытаскивали из огня чужие вещи, отнимали ножи у тех, кто решил выяснить отношения, пересчитывали головы у парашюта. За нами, третьим курсом, тоже поглядывали. А выпускники через два месяца разлетались по заставам и хотели хотя бы сегодня выпить без человека, который утром заставит их за это бегать.

Я бы тоже хотела. Мне даже стало неловко, что я к ним

полезла.

— Кстати. — Клюв поймал меня за рукав. Я остановилась сразу, хотя он едва держал. — А ты чего кружку бросила?

— Да пусть себе уходит уже, отпусти, — кто-то сказал.

— Простите. Я случайно.

Он посмотрел на кружку, потом на рукав у моего рта. Обхватил железо ладонью целиком.

— Ты обожглась?

Я не ответила.

— Да ладно! — сказал тот, кто убрал сапог. — Всадница?

Клюв потянул мой рукав вниз. Я попыталась ответить, но обожжённый язык задел зубы, и вместо слов вырвался болезненный вдох. Язык саднило, нижняя губа распухла.

— Вот это сцепка, — сказал кто-то. — Ей на вылет грелку выдавать будут?

Двое засмеялись. Я тоже попыталась улыбнуться, хотя под маской этого всё равно не было видно, но губу стянуло болью. Пусть бы посмеялись и отпустили. За слабую нить мне сегодня ничего нового не сказали бы.

— Иди уже, — сказал выпускник у огня. — Ещё расплачется, придётся объяснять, что мы с ней сделали.

Я повернулась к арке.

— Погоди-ка. Я знаю, кто это.

Ноги остановились прежде, чем я успела решить, слушаться ли.

— Верна с третьего. Дочка яичного барыги.

Сказано было негромко. У соседнего костра продолжали петь, никто не повернулся. Я смотрела туда и почему-то считала людей, стоявших ко мне спиной.

Если уйти сейчас, они могут даже не увидеть моего лица.

— Та, которой без бумаги никуда? — спросил клюв.

Я выпрямилась.

— Я уже ухожу.

— Теперь погоди.

Он встал передо мной. За его плечом я видела арку и человека у неё: тот разговаривал с кем-то, изредка поворачивая голову к дальним кострам. Я больше всего на свете хотела, чтобы он посмотрел сюда. И боялась, что посмотрит.

— Ты понимаешь, куда пришла? — Клюв говорил тише.

— Тебя хватятся, придут сюда. Увидят нас с тобой. А утром Веррен спросит, почему выпускной курс покрывает нарушение.

— Меня не хватятся.

Это прозвучало жалко. Ещё жалче было то, что я сказала правду.

— А если хватятся? Ты скажешь, что сама пришла? Или что мы тебя позвали и вина налили?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.